

# Хуан Вильоро

## Друзья-мексиканцы

Перевод фрагмента из книги современного мексиканского писателя Х. Вильоро, дебютировавшего в 1991 г. романом «Прозрение». За истекшие годы автор получил множество премий. В 2008 г. вышла его книга «Виновные», отрывок из которой и предлагается вниманию читателей. Работая на постмодернистском уровне, автор, однако, умеет сказать свое, совершенно индивидуальное слово.

**Ключевые слова:** детективная интрига, рефлексия, самоирония, зрение-прозрение.

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Хуан Вильоро (1956), успевший получить множество премий, все еще принадлежит к поколению молодых в мексиканской литературе. Он дебютировал в 1991 г. романом «Прозрение». Это большое повествование представляет собой, наряду с захватывающим сюжетом, большую и многосложную метафору, не лишенную постмодернистских ухищрений. Центральные мотивные линии зрения и слепоты подводят автора к метафизическим глубинам и вместе с тем позволяют обозревать обширные социальные горизонты. В этой книге автор находит и разрабатывает художественный прием, который станет его фирменным знаком: это своего рода многослойная лента Мебиуса, которая держит наблюдателя/читателя в постоянном удивлении и напряжении.

Книга «Виновные» (2008) построена совершенно иначе. Необычная в жанровом отношении, она состоит из шести монологов персонажей, дополняемых представленной ниже новеллой под названием «Друзья-мексиканцы». Суть, однако, не в жанре, а в том, что Х. Вильоро посредством уже привычного для мексиканской литературы приема многоголосия вскрывает особенность национальной сущности: нецельной, раздробленной, мучимой извечными комплексами. А метафизическая лента Мебиуса иронично заменяется здесь огромным бетонным шаром, призванным уплотнить мир. Однако, чем грубее и весомее у Х. Вильоро фактура, тем она прозрачнее, недостовернее. Это сложный текст: в нем есть и детективная интрига, и рефлексия, и бесконечная самоирония, и игра с читательскими ожиданиями. Работая на постмодернистском уровне, автор, однако, умеет сказать свое, совершенно индивидуальное слово. В чем же оно, это слово?

---

\* Печатается с любезного согласия автора.

Наверное, в том, о чем автор сам говорит в одном из интервью: «Для меня самым опасным представляется наша известная тенденция подчеркивать наш мнимый экзотизм; выдавать нашу видимость за подлинность, чтобы нас узрели снаружи, из-за границы». Итак, проблема истинного зренья-прозренья остается, только трактуется в ином ключе. В каком же? Читатель, если увидишь, сам поймешь. Проблема только в том, чтобы увидеть. Ведь даже главный герой сам себя вполне не видит вплоть до последнего момента. А когда, наконец, узревает, то отказывается длить былую видимость. И обретает цельность.



## КАТЦЕНБЕРГ

Телефон звонил раз двадцать. Должно быть, кто-то на другом конце провода вообразил себе, будто я живу в поместье, и мне придется бежать к телефону откуда-то из конюшен, или что в мире не существует мобильных, или, может, у меня какие-то мистические предрассудки и я боюсь поднять трубку из суеверия. Вообще-то я и в самом деле колебался, брать ли трубку.

Не зря. Это звонил Сэмюэль Катценберг. Он прилетел в Мексику, чтобы написать репортаж о феномене насилия. В последний раз он приезжал от «Нью-Йоркера»; теперь он работал на «Пойнт-Бланк», одно из тех изданий, где пропитывают парфюмом соответствующую рекламу и дают советы, как стать истинно светским человеком. Минуты две он объяснял мне, насколько выгоднее его нынешняя работа.

— Видишь ли, «Пойнт-Бланк» означает «Без обиняков», — Катценберг никогда не упускал случая продемонстрировать свои познания в испанском, — и журнал этот занимается не только легковесными материями; мой редактор ищет настоящую тему. Она баба башковитая, тут же врубается. Друг мой, Мексика страна замечательная, но немного странная; мне потребуется твоя помощь, чтобы ты объяснил, где ее страшная, а где бунюэлевская сторона.

Он произнес эти «у-юэ-е» так смачно, будто вбирал губами серебряную пулю, а мне за услуги предложил тысячу баксов.

Тогда мне пришлось объяснить ему, что все не так просто.

Два года назад Сэмюэль Катценберг приехал в Мексику, чтобы написать еще один из бесконечных очерков о Фриде Кало. Кто-то тогда сказал ему, что я — сценарист, специализирующийся на «крутых» темах, и он нанял меня для поездки в город, который он посчитал достаточно «крутым», где я должен был давать ему разъяснения по поводу всякой там мистики.

Катценберг уже порядком начитался о душераздирающей мексиканской живописи. Он знал много больше моего о настенных росписях с кукурузными початками во сколько-то там квадратных метров, о Музее Революции, о кровавой истории с Троцким и о романтических отношениях Фриды с советским пророком, прозябавшем в Койоакане. Он долго повествовал мне нравоучительным тоном о «значении физической травмы как фактора транссексуальности»: по всему выходило, что парализованная наша художница оказывалась «чрезвычайно знаковым секс-символом постмодернистской эпохи, во

многим превосходящим традиционное понимание этого термина». По этой логике Мадонна оставалась уж и вовсе не у дел.

В тот раз Катценберг предварительно пообщался с профессорами школы Культурных исследований университетов Брауна, Принстоуна и Дьюка. Да, он хорошо подготовился. Следующим шагом должно было стать непосредственное вступление в страстный контакт с *настоящей* страной Фриды Кало. И он нанял меня в качестве посредника для контакта с *настоящестью*. Но мне оказалось нелегко удовлетворить его жажду подлинности. То, что я ему показывал, он считал либо колоритными сюжетами для туристов, либо же просто ужасом безо всякого фольклора. А он хотел такой действительности, какую видел на картинах Фриды: жуткую, но уникальную. Он никак не мог понять, что ее знаменитые «народные» костюмы уже можно было встретить только на верхнем этаже Музея антропологии, да разве что еще в глухих уголках, где они, правда, никогда не бывали ни такими яркими, ни такими расшитыми. И еще он не верил, что нынешние мексиканки тщательно выщипывают волоски на верхней губе, поскольку, на его взгляд, именно усики придавали Ф.К. (он обожает аббревиатуры) очарование бисексуальности.

Не много было проку и от того, что сама природа вписала свою черную страницу в его заметки. Вулкан Попокатепетль вдруг ожил, и наше посещение дома Фриды Кало сопровождалось обильным дождем из вулканического пепла. Это обстоятельство дало мне основание прибегнуть к философическому размышлению на тему о том, что небо нынче стало не таким, каким оно бывало при жизни Ф.К.

— Да, мы перестали быть краем наипрозрачайшей ясности<sup>1</sup>, — глубокомысленно заметил я, словно бы речь шла не об элементарном загрязнении окружающей среды, а о гибели всей индейской культуры.

Вообще-то я и сам обрушил на Катценберга целый дождь пошлостей и общих мест вокруг да около мексиканской личности. Но и он был виноват: ему, видите ли, подавай игуан, разгуливающих по городу.

Мехико поверг его в разочарование: видимо, он увидел в нем нечто вроде разрушенного храма, на руинах которого воздвиглись торговые ряды, а в лавках оставшимся огнепоклонникам предлагали витамин Е.

И когда я представил его специалисту по мексиканскому искусству, Катценберг не пожелал разговаривать с ним. Мне бы в тот момент расторгнуть с ним контракт: ну, как я мог работать на расиста. Дело в том, что Дидье Моран был сенегальским негром. Он оказался в Мексике, потому что президент Луис Эчеверрия посчитал, что наши страны скрепляли прочные узы. Моран ходит в пестром африканском балахоне и носит роскошное ожерелье. При этом он служит Комиссаром по делам культуры, и мало кто может сравниться с ним по глубине познаний. Но Катценбергеру не понравилось, что один негр достойно представлял столько культур сразу.

— Мне не нужен специалист-африканец, — сказал он таким тоном, словно я подсовывал ему что-то подозрительное.

— Не нужен, так не нужен, тогда ставка будет двойная, — ответил я ему.

Он неожиданно согласился, и с того момента я принялся выискивать метафоры и прилагательные, которые представили бы образ *глубинной* Мексики, — той, что он столь жадно пытался узреть в вещах одновременно подлинных и невозможных.

Вот тогда-то я и свел его с Гонсало Эрдиосабалем.

Гонсало напоминает эдакого голливудского мавра сороковых годов. У него неимоверно гордый вид султана, у которого увели всех его верблюдов и которому на это дело наплевать. Но таким его воспринимают в Мексике. В Европе же он сходит за истинного мексиканца. В восьмидесятые он целых четыре года выдавал себя в Австрии за Шочипили, якобы потомка императора Моктесумы<sup>2</sup>. Каждый день он заявлялся с утра пораньше в Венский этнографический музей, вырядившись в наряд ацтекского плясуна, возжигал благовония из кактуса и принимался собирать подписи у туристов с целью вернуть народу кетцалеви<sup>3</sup> плюмаж Моктесумы, который пылился тут же рядом под стеклом витрины.

Перевоплощенный в Шочипили Гонсало сумел таки доказать австрийскому обществу, что не представлявший для них особой ценности трофей Максимилиана Габсбургского<sup>4</sup> для нас, мексиканцев, составлял часть национальной идентичности. Он собрал достаточное количество подписей, чтобы поставить вопрос на обсуждение в парламенте, получил финансовую поддержку со стороны неправительственных организаций и безусловное преклонение целого гарема блондинок. Ясное дело, получи он плюмаж, все бы тут же и кончилось; он мог наслаждаться своим положением только до той поры, пока австрийцы оттягивали решение вопроса. Он доил свой «фонд Моктесумы», не давая противнику победить его своим благородством. В конце концов, он извелся настоящей тоской по родине и вернулся без императорских перьев. «Больше не могу дышать воздухом, который не воняет бензином и шкварками», признавался он мне в одном из писем.

Так вот, после того как Катценберг удвоил мне гонорар, я отправился вместе с ним к Гонсало, имея в виду предложить ему треть оплаты. Первым делом наш друг устроил на плоской крыше своего дома нечто вроде ритуала плодородия, после чего повел нас к какой-то покрытой струпьями знахарке. Эта прокаженная заставила нас пожевать стебель сахарного тростника, чтобы по выплунутым волокнам определить нашу судьбу.

Спасибо Гонсало: наконец-то благодаря его бредовым «традициям» и «ритуалам» Катценберг смог воочию узреть «типичные» сюжеты для его очерка об истинной Мексике. В тот день он настолько воодушевился, что вечером перебрал текилы и признался мне, что журнал снабдил его суточными на целый месяц, причем, не скупясь. А мы с Гонсало позволили ему «изучить» все за одну неделю.

Однако начиная со следующего дня он решил начать экономить. Он посчитал, что гостиничный лимузин выходил ему слишком дорого, поэтому остановил на улице первый попавшийся «Фольксваген» попугайного цвета<sup>5</sup>, водитель которого завез его в укромное место и приставил ему отвертку к горлу. И у Катценберга остался только паспорт и обратный билет. Но рейс отменили из-за того, что Попокатепетль продолжал изрыгать тучи пепла, который забивал самолетные двигатели.

Наш журналист провел свой последний день в Мехико в чтении сообщений о деятельности вулкана и не рискуя даже высунуться в коридор. Потом он позвонил мне и попросил придти. Я боялся, что он потребует деньги назад, но еще больше боялся, что мне придется самому субсидировать его. Поэтому я сослался на недомогание — якобы на меня навела порчу индейская колдунья.

Я долго сочувствовал Катценбергу, но лишь до того момента, пока он не прислал мне свой напечатанный репортаж. Заголовок отдавал физиологической вульгарностью: «Извержения. Фрида и вулкан»<sup>6</sup>. Но самая мерзость состояла не в этом. Я там представал в качестве «одного из местных жителей», причем он даже не удосужился упомянуть мое имя, хотя гнал целыми абзацами все, что я ему наговорил. Безо всяких кавычек и зазрений совести. Репортаж этот, пусть и убогий, все же был самым настоящим грабежом. Единственным достоинством автора было то, что он сумел в моей белиберде найти хоть какой-то смысл (сам я обнаружил его лишь по прочтении статьи). Под конец он выложил что-то, что я ему наплел насчет влияния зеленого мексиканского соуса на наше обостренное цветоощущение. Всю эту бредятину я мог бы развести и за половину гонорара, полученного Катценбергом. Что поделаешь, мы — все еще колониальный мир, а журналу требовалось авторитетное перо Сэмюэля Катценберга. Да и репортажей я не пишу.

### БЕРРОУЗ

Так что возвращение звезды журналистики в Мексику оказывалось испытанием на прочность и моего терпения, и моего достоинства. И как только он осмелился позвонить мне?

Я начал с того, что дело вовсе не в моих личных амбициях, — просто мне надоело, что североамериканцы пользуются нами, как хотят. И добавил, что вместо того, чтобы переводить серьезных мексиканских писателей, они присылают всяких сексуально озабоченных идиотов с той лишь радости, что те пишут на английском. Вся планета превратилась в новую Вавилонскую башню, где никто никого не понимает, но худо в том, что, оказывается, не все говорят на английском. Мне показалось, что я говорил весьма патриотично, поэтому я продолжал в том же духе до тех пор, пока не остерегся впасть в антисемитизм.

— Извини, что не упомянул тебя по имени, — вежливо ответил Катценберг.

Я посмотрел в окно. В скверике напротив, известном как Парке де ла Бола<sup>7</sup>, какой-то малыш вскарабкался на огромный каменный шар. Он раскинул ручонки, должно быть, воображая себя на вершине горы. Народ вокруг фонтана стал хлопать в ладоши: Земля была покорена.

По вечерам я обычно сиживаю в ротонде рядом с Шаром. Этот цементный Шар представляет из себя нашу планету в миниатюре. Люди выходят на балконы поглядеть на него. Мир, обозреваемый своими обитателями.

Я перевел взгляд на компьютер, обклеенный желтыми стикерами, на которые я записываю свои идейки. В результате мой компьютер стал напоминать индейского бога Шипе-Тотека<sup>8</sup>. Лоскут каждой идеи составлял часть облачения Ободранного Вождя Нашего. Так, вместо того, чтобы писать сценарий на тему о сложности нашей национальной идентичности, за который, кстати, я уже получил аванс, я занимался возведением индейского святилища.

Катценберг продолжал извиняться:

— У нас корректоры обычно выбрасывают самые забойные прилагательные, понимаешь, журнальная редакция — штука суровая; да и редакторы у нас не то, что в Мексике: у них рука тяжелая, чуть что, у тебя отбирают тему...

Я меж тем думал о Кристи Суарес, которая оставила мне на автоответчике потрясающее сообщение: «Как у тебя со сценарием? Вчера ты мне приснился. Какой-то кошмар с элементами дешевых страшилок. Но ты был хорош: предстал в виде чудища, но не преследовал меня, а наоборот, спасал. Не забудь, что первое обсуждение назначено на пятницу. Спасибо, что спас меня. Целую».

Слышать Кристи — сладкая отравка: она всегда восхищает меня рассуждениями на темы, которые мне не нравятся. Ради нее я написал сценарии о новых сортах маиса и о разведении зебу. И хотя эта работа всего только повод, чтобы быть рядом с ней, я так и не осмелился сделать последний шаг. И до сих пор, как бы невероятно это ни звучало, я был для нее прежде всего сценаристом. Она познакомилась со мной, когда я пребывал в беспробудном пьянстве; и несмотря на это (или благодаря этому) она уверилась, что талант не пропьешь. С тех пор она обращается ко мне так, словно наш последний документальный фильм получил «Оскара» и нам предстоит престижный вояж в Канны. Последний из пароксизмов ее энтузиазма и привел меня к теме мексиканской национальной идентичности. «Мы, мексиканцы, представляем собой подлинный коллаж», — сказала она тогда. Не знаю, как объяснить, но в ее устах эта фраза прозвучала великолепно.

Я выключил автоответчик, потому что не был уверен, смогу ли выдержать очередное сообщение Кристи и ее роскошный бред. Иногда я думаю, ну, что я потерял бы, если бы раз и навсегда ответил ей, что тема идентичности мне до фени и что единственный коллаж, который меня интересовал, была она. Но потом вспоминаю, что ей нравится заботиться о своих подопечных и что она любит выступать в роли медсестры. Может быть, эти сценарии — нечто вроде терапевтических упражнений, которые она мне назначила, и она не ждет от меня ничего другого, кроме строгого их выполнения. Однако образ чудища — это сильно, почти порнография. Хотя, возможно, еще порнографичнее было бы, если бы я приснился ей в роли злого монстра. Что и говорить, сложна женская душа.

Да, так вот, я выключил автоответчик, чтобы уж больше не слышать голос, который меня и так преследовал. И когда телефон прозвонил двадцать раз, я снял трубку из чистого интереса: что это за псих там названивал. Оказалось, это Катценберг. Снова здорово!

Он все еще висел на проводе. Исчерпав все известные ему формулы вежливости, он ждал моего ответа.

Я порывлся в бумажнике: две купюры по двести песо со слабыми следами кокаина (к сожалению, слишком слабыми). Это зрелище вынудило меня принять решение, но Катценберг оставил напоследок еще и психическую атаку:

— Знаешь, меня не раз просили, чтобы я вернулся в Мексику. Ты не согласишься, но очерк о Фриде оказался хитом. Я не хотел приезжать, и тогда один коллега, ирландец-антисемит, который глаз положил на мою девушку, пустил слух о том, я, якобы, не хотел возвращаться потому что у меня, дескать рыльце в пушку. И что у меня были проблемы то ли с наркодельцами, то ли с полицией.

— Так ты вернулся, чтобы отстоять свою честь?

— Да, — смиренно ответил он.

Я заявил ему, что я — не «один из местных жителей». И что если он хотел сослаться на меня, то должен быть назвать мое имя. Это вопрос прин-

ципа и элементарной работы с источниками. После этого я запросил у него три тысячи зеленых.

Возникло долгое молчание. Я предположил, что Катценберг подсчитывает плюсы и минусы, но он уже въехал в тему:

— Ну, так что ты мне скажешь насчет насилия в Мехико?

Я вспомнил фразу, которую по этому поводу написал то ли Берроуз, то ли Керуак, то ли Гинзберг, то ли еще какой-то крупняк, который собирался приехать в Мехико, но боялся, что его там ограбят:

— Не бойся, — сказал я, — мексиканцы убивают только своих друзей.

## КЕЙКО

Вообще-то единственное, что меня по-настоящему интересовало в эти дни из происходящего в Мехико, это было прощание с дельфином Кейко. У разведенных родителей выходные часто бывают связаны с зоопарком и с аквалендом. Я привык ходить с Таней в «Рейно Аventura» — своего рода аттракцион-дельфинарий, целый аквапарк.

Я решил провести там с Таней утро, наблюдая фокусы могучих дельфинов (которых моя дочь с научной точностью именовала «орками»), а вечер посвятить Катценбергу, вернее, сочинением «крутых» сценариев для спасения его чести и достоинства. Последнее предполагало немалые трудности, так как все места, связанные с насилием, были достаточно тривиальными.

К тому же оставался нерешенным вопрос: когда же я напишу хотя бы первую сцену для Кристи?

И пока я пытался соскрести хотя бы остатки кокаиновой полоски с дешевой купюры, носившей благородный лик Хуаны Инес де ла Крус<sup>9</sup>, я мучился вопросом онтологического свойства, препятствовавшим моему занятию: какой смысл писать сценарии в стране, где вся синематека взорвалась, когда показывали «Землю обетованную»<sup>10</sup>? Я вспомнил, как однажды в фильме по моему сценарию один из массовки должен был стать жертвой нападения и воскликнуть: «А-а...». Профсоюз кинематографистов тогда решил, что, раз уж он что-то произносил, ему полагалась выплата не как статисту, а как актеру. С тех пор все мои жертвы умирали молча.

К тому же мне всегда было непонятно, что могло быть общего между тем, что разыгрывалось в моей голове, и теми вальяжными красавцами или крашеными красотками, которые выпаливали мои фразы с экрана.

— Почему бы тебе не написать роман? — спросила меня однажды Рената. Мы тогда еще состояли в браке, и она еще не потеряла надежды исправить мои привычки во имя моего же блага, представляя себе первым шагом на этом пути возможность превратить меня в романиста. — Ведь в романе спецэффекты ничего не стоят, а герои не объединяются в профсоюзы. Ты имеешь дело только с твоим внутренним миром.

Эту фразу я никогда не забуду. Были времена — невероятные времена, когда Рената верила в мой внутренний мир. Произнося эти слова, она глядела на меня своими глазами медового цвета (которые Таня, к сожалению, не унаследовала) так, словно видела перед собой интересный, но несколько смутный пейзаж.

И ни одно из услышанных мною впоследствии обвинений, ни одна из перебранок, которые и привели нас, в конце концов, к разводу, не ранили

меня так больно, как эта фраза, исполненная самых доброжелательных ожиданий. Ее надежда оказалась более разрушительной, чем ее ругань: Рената надеялась увидеть во мне качества, которыми я не обладал.

У нас, сценаристов, «внутренний мир» — это интерьер, обставляемый всяким барахлом. Так вот, этот интерьер и есть мое «я», бесконечно далекое от образа, нафантазированного женщиной, которая ошиблась, надеясь увидеть во мне глубину, и ранила меня надеждой, что я смогу реализовать себя в этом качестве.

Я позвонил Гонсало Эрдиосабалю, полагая, что он мог бы помочь мне со сценарием. То есть, сам он не пишет, но его биография — готовый сценарий на тему о мексиканской национальной идентичности. До того, как отправиться в Вену, он был страстным актером-любителем в университетском городке (он произносил монологи Гамлета, сидя в какой-то болотной жиже); потом разводил раков в реке Пануко<sup>11</sup>; оставил жену с двумя дочерьми в Сальтильо<sup>12</sup>; затем продюсеровал видеофильм о бабочке Монарх из класса данаидовых; и, наконец, открыл портал в Интернете специально для шестидесяти двух индейских общин Мексики. Кроме того, Гонсало есть воплощение практического разума<sup>13</sup>: он ремонтирует любые, даже незнакомые ему автомобильные моторы и находит у меня на полках в кухне такие вещи, из которых умудряется готовить настоящую вкуснятину. Иногда его энергия и его страсть к экспериментаторству начинают надоедать, но в кризисных ситуациях он оказывается абсолютно необходим. Когда я расстался с Ренатой, он презрел мое устремление к патетическому одиночеству и стал приходить ко мне ежедневно. Он притаскивал то новые журналы, то кассеты, то просто заваливался с бутылкой рома, который трудно было достать.

Ну вот, я позвонил Гонсало, а он мне ответил, что никогда не думал о сценарии. Можно считать, что согласился. Я почувствовал такое облегчение, что пустился в болтовню. Я рассказал ему все о Катценберге и о том, что тот возвращается в Мексику. Впрочем, последнее его не интересовало. Ему хотелось поговорить совсем о других вещах, рассказать о своем товарище по университетскому театру, который только что поставил пьесу Жене<sup>14</sup>, да не где-нибудь, а в гимназии. Гонсало имеет обыкновение говорить о каждой сцене почти столько же времени, сколько она длится в действительности. Я повесил трубку.

Потом отправился забрать Таню. Город был увешан китово-дельфиньей символикой. Странно, Мехико оказался необыкновенно приспособленным местом для разведения панд: именно здесь родился первый детеныш за пределами Китая. А китам ведь требуется гораздо больше места и иная среда для создания семьи. Вот почему Кейко должны были отпустить на волю. Во всяком случае, я попытался объяснить это дочери, пока мы с ней ждали начала представления в гигантском аквапарке.

Таня только что выучила слово «злосчастный» и пыталась найти ему всевозможные применения. Мы оба были довольны. К тому же Кейко собирался обрести себе в море семью. Но дочь глядела на меня исподлобья. Я думал, она скажет, что это была *злосчастная* идея. Я достал книжку из ее рюкзака и стал ее читать. Речь в этой сказке шла о хищных морковках. Нет, конечно, ничего злосчастливого.

Наш дельфино-кит был натренирован на то, чтобы сказать «до свиданья» мексиканцам. Он и в самом деле помахал на прощанье лапами. Рас-троганные, мы все пели хором. Тут вперед вышли десять марьячи<sup>15</sup> со своими серебряными трубами и затаили что-то уж и вовсе жалостливое, а солист воскликнул:

— Нет, это не слезы — просто у меня потеют глаза!

Признаться, я и сам невольно расчувствовался. Про себя я проклинал этого чертового Катценберга, неспособного оценить действительно замечательную склонность мексиканцев к китчевости. Нет, ему подавай только насилие.

Наконец, Кейко выскочил из воды в последний раз. В его улыбке мне чудилось что-то зловещее, какой-то оскал с острыми зубами... По выходе из аквапарка я купил Тане надувного кита.

В пригороде горели леса. Облака пепла погружали город в ранние сумерки. С высоты холма, на котором был расположен парк, город виделся окутанным колеблющейся хмарью. В таком мире немудрено было при-сниться добрым чудовищем.

Мы выехали на шоссе, не обменявшись и словом. Наверное, Таня думала о Кейко, о том, что ему придется уехать очень далеко, чтобы создать себе семью.

Я отвез Таню к Ренате, а сам отправился в «Лос-Алькатрасес». Ровно в четыре я был у заказанного столика. Катценберг уже был занят едой.

Ресторан я выбрал просто идеальный в том смысле, чтобы хорошенько помучить Катценберга и одновременно заставить его поблагодарить меня за *настоящее*, типично мексиканское место. Марьячи наяривали псевдо-фольклорные песенки; грубые стулья были выкрашены в яркие цвета, которые обычный мексиканец может увидеть только в «типичных» заведениях; на столе ждали шесть типов жгучих соусов и меню с тремя видами насекомых, показавшихся моему собеседнику все же слишком экзотичным блюдом даже для его страсти к испытанию типично мексиканским опытом.

Да, он полысел. Хотя одевался с дешевым шиком: цветастая рубашку в клеточку дополнялась часами на прозрачном пластмассовом ремешке. Его маленькие глазки голубовато-блеклого цвета быстро бегали. Он чем-то напомнил мне жадно жужжащую мясную муху.

Катценберг заказал себе кофе без кофеина. Ему принесли какой был: из общего бачка, с корицей и сахаром. Бедняга едва отпил — он вообще относился к еде очень предусмотрительно. Пожаловался, что у него и так стучало в висках, такой постоянный шум.

— Это от высоты, — успокоил его я, — никто не переносит безболезненно эти две тысячи двести метров.

Тогда он стал говорить мне о своих проблемах. Он рассказал, что некоторые коллеги ненавидели его из зависти, а другие — просто так, без видимых причин. К счастью ему довелось побывать в местах, где как раз в момент его присутствия разгорались конфликты, которые приносили ему чрезвычайные преимущества. Он первым заснял массовый исход населения в Руанде; геноцид курдов; результаты утечки карбида на химическом заводе в Индии. Всюду он обретал премии и завоевывал себе недругов. Враги буквально дышали ему в затылок. Мы с ним были одного возраста (по тридцать восемь), но он был весь какой-то траченный, словно пробежал всю Африку безо всякого кондиционированного воздуха. Он был настоль-

ко точен в описании своих недоброжелателей, что я заподозрил в этом отенок мифомании. Он уверял, что никто не простил ему ни пребывания в Берлине в день падения стены, ни случайную встречу с Варгасом Льюсом<sup>16</sup> в Париже после того, как тот проиграл выборы в Перу. Я подумал: может он из тех журналистов-аналитиков, которые бахвалятся добытыми фактами, но могут походя приврать что-нибудь вроде даты рождения. Ведь многие из тех конфликтов с коллегами, о которых он рассказывал, были обязаны именно способу добывания информации, как это было в моем случае.

Он обвел взглядом соседние столики.

— Я не хотел возвращаться в Мексику, — сказал он тихо.

Возможно ли, чтобы столь опытный боец, закаленный государственными переворотами и радиоактивными облаками, испугался жизни в Мексике?

Я заказал пирожки с мясной начинкой, Катценберг продолжал говорить, не отрывая взгляда от моей тарелки, словно извлекал свои соображения из густого зеленого соуса, которым я сдабривал свою пикантную еду.

— Здесь есть нечто неуловимое: злоба трансцендентальна, — он многозначительно провел рукой по оставшимся волосам. — Зло не приходит просто так: оно имеет свой смысл. Этот ад Лоренс Даррелл<sup>17</sup> и Мальколм Лаури<sup>18</sup> и нашли здесь. Им удалось спастись чудом. Они вошли в контакт со слишком сильным энергетическим полем.

Тут мне принесли заправку в глиняном кувшине. Отбитая ручка была примотана пластырем. Я ткнул пальцем в кувшин:

— Вот тебе зло безо всякого умысла. Не тревожься, Сэмюэль.

#### «ОКССО»<sup>19</sup>

В общем, Катценберг, одержимый паранойей, понравился мне еще больше. Он уже не строил из себя акулу современной журналистики, как в прошлый раз. Реальные или придуманные проблемы улучшили его характер. Теперь он хотел только записать, что надо, и смотаться.

Я произнес одну из тех фраз, которыми должен был показать, что я сценарист. Я сказал:

— Следует ли мне что-либо знать?

Он ответил так, словно был одним из моих персонажей:

— Что именно из того, что ты знаешь, тебе не понятно?

— Ты слишком нервничаешь. У тебя неприятности?

— Я тебе уже сказал.

— Есть ли неприятности, о которых ты мне не рассказал?

— Если я тебе не говорю сразу обо всем, это в целях успеха операции.

— «Успеха операции». Ты выражаешься, как агент Комитета по борьбе с наркотиками.

— Да брось, — улыбнулся он, уже помягче. — Я должен обеспечить защиту своего источника, вот и все. Я доверяю тебе то, что считаю нужным. Считаю, что ты моя Глубокая глотка<sup>20</sup>. Я не хочу тебя потерять.

— Есть ли что-то, о чем ты умолчал?

— Да. Помнишь, я говорил тебе об ирландце-антисемите?

— Который хотел трахнуть твою девушку?

— Он самый. Теперь он хочет трахнуть мою жену, потому что уже трахнул мою девушку.

— А-а...

— Так вот, его назначили выпускающим редактором «Пойнт-Бланка». Он знает, что я бываю не очень строг с моими источниками и уже назначил цену за мою голову. Теперь он только и ждет малейшей ошибки, чтобы обрушиться на меня.

— А я думал, что все тебя ненавидели за то, что ты первым оказался в Руанде.

— Есть и это, но с ирландцем все дело в его необрезанной пиписье. Мы хоть и гринго все проклятые, но и у нас бывают свои личные проблемы. Можешь ты это понять, чертов дубозвон?

— Знаешь, ты слишком хорошо говоришь по-испански. Здесь уже все верят, что ты из ЦРУ.

— Я же тебе рассказывал, что провел здесь юность, с двенадцати до шестнадцати. Я ходил в Колехио Мишоак. Ты веришь мне или нет? Мы с тобой должны заключить союз, брачный договор, — наконец улыбнулся он.

— В Колехио Мишоак не учат таким словам, как «брачный договор».

— Ну, есть же словари, скотина! В колехио я обучился тому, чему обучаются во всех мексиканских колехио: говорить «дубозвон», — он выдержал мой взгляд, глаза его при этом превратились в две синие искры. — Ты можешь понять, что я в заднице, даже заплати я тебе эти чертовы три тысячи баксов?

И мы заключили мир. Мне даже захотелось вознаградить его каким-нибудь повседневным фактом насилия, типичным для Мехико третьего тысячелетия. Я попросил у него мобильник и набрал номер Панчо. Панчо был дилер, который завоевал мое доверие фразой: «Если хочешь, чтобы дьявол тебе улыбнулся, позвони мне».

Панчо назначил мне встречу в двух шагах от ресторана «Лос-Алькатрасес». Мне хотелось, чтобы Катценберг самолично присутствовал при торговле кокаином — делом у нас столь же простым и обычным, как и заказ порции пиццы. Преступление на уровне рутины.

Панчо подкатил на сером «Камаро», в котором прыгали две его дочурки. Он подрулил ко мне, высунулся в мое окошко, бросил внутрь пакетик и забрал двести песо во время рукопожатия.

— Береги себя, — произнес он обычную для нас фразу, которая могла бы насторожить только в том случае, если бы она исходила от какого-нибудь трясущегося от страха типа с бледным лицом и нездоровым блеском в глазах. Что касается Панчо, то его вид служил лучшим средством против его наркотиков. Уж ему-то дьявол точно не улыбается. Возможно, он обладал каким-то тайным секретом воздействия на людей, который делал его могущественным, словно недобальзамированный финикийский властитель. Сэмюэль Катценберг жадно изучал его лицо, должно, быть, подыскивая соответствующие эпитеты.

Я зашел в «Окссо» купить пачку сигарет. Когда я подходил к кассе, где-то в поле моего зрения что-то мелькнуло. Мне показалось, что это грабители. Однако кассир смотрел куда-то скорее с изумлением, чем с испугом. Оказалось, дело происходило с той стороны витрины. Я скосил глаза в сторону парковки: там какой-то тип в шнурованных сапогах вытаскивал Катценберга из его машины. В висок ему упирался пистолет военного образца. Второй в таких же ботинках вылезал из заднего сиденья моего автомобиля,

где он явно что-то искал. Подойдя к магазину, он заорал на нас, тех, что таращились на все это дело:

— Молчать, суки, всем мозги вышиблю!

Нам уже было не до пистолета — мы и так повалились на пол. На меня посыпались банки, коробки, битое стекло. Выстрелом разнесло витрину. Второй выстрел сотряс все здание и продержал нас на полу минут пять.

Когда я вышел, меня поразило вид моей машины, беспомощно раскинувшейся в стороны дверцы, — так выглядит человек, подвергшийся нападению. Что до Катценберга, то от него осталась одна пуговица, очевидно, оторвавшаяся в ходе схватки. К небу поднимался красноватый столб дыма, пахнувший какой-то химией. Неоновые буквы рекламы были наполовину снесены выстрелом. Оставались светить только две большие «О», похожие на два испуганных глаза.

## БУНЮЭЛЬ

Лейтенант Нативидад Кармона обо всем имел четкие и ясные представления.

— Пожуйся, лучше думать будешь, — с этими словами он протянул мне пакетик смородиновой жвачки.

Я взял пастилку, хотя жевать мне не хотелось.

Ощущение неестественности всего происходящего сопровождало меня и в полицейской машине. Сидевший рядом с водителем Мартин Паленсия сообщил напарнику:

— *Тамаль*<sup>21</sup> уже готов.

Кармона никак не отреагировал на это сообщение. Я не знал, кто такой *Тамаль*, но мне стало очень не по себе от того, что его смерть не произвела на полицейских ни малейшего впечатления.

Я не сразу среагировал на похищение Катценберга. Ничего удивительного, если в кармане у тебя пакетик с кокаином. Каково мне было слышать завывание полицейских сирен? Панчо поставлял превосходный товар, выбросить его было бы настоящим преступлением.

Оглядев свою машину (безо всякого толку, разумеется), я вернулся в «Окссо» и направился к банкам с порошковым молоком. Я выбрал ту, что показалась мне наиболее убедительной, — такие мы покупали для новорожденной Тани. Я легко снял пластиковую крышку и сунул внутрь белый пакетик. Если повезет, заберу завтра с утра. Это молоко было из дорогих.

Когда я вернулся к машине, там уже рыскали двое полицейских. При виде меня они демонстративно открыли бардачок и вынули оттуда мешочек с марихуаной. Значит, пока я отделялся от коки, они подкинули мне травку, которой грош цена. В общем-то смысла в этом было немного, но ребята решили подстраховаться, чтобы поднажать на меня. Я уже собирался было отделаться последней оставшейся у меня купюрой (со следами дури куда более серьезной, чем какая-то там травка), как тут с лету подкатил мышино-серого цвета джип с прожекторами на крыше. Он так роскошно взвизгнул тормозами, как не бывает и в мексиканских сериалах.

Так я и познакомился с Нативидад Кармоной и Мартином Паленсией. Оба сыщика заросли диким волосом до бровей, но при этом имели тщательно отполированные ногти. Пока они с явно растянутым удовольствием обыскивали мою машину, я смог разглядеть шрам на лбу у Кармоны и

«Ролекс» на руке у Паленсии, который смотрелся еще страшнее. К патрульным полицейским эти в штатском относились с полным презрением. Итогом шмона стало, кроме упомянутого мешочка с марихуаной, удостоверение члена Союза кинематографистов. Меня изумила их способность поставить обе находки в один логический ряд:

— Смотри сюда, парень, — сказал Кармона, обращаясь к одному из патрульных. — Ты, что, думаешь, будто сеньор кинематографист станет баловаться этой травкой? — Он ткнул в меня пальцем и заговорил подчеркнуто уважительно. — Настоящий художник употребляет куда более серьезные вещи, — с этими словами он бросил марихуану полицейскому. — На, заberi это дерьмо.

На этот раз полицейским ничего не перепало и они поехали добирать свое в другое место. А я остался в распоряжении правосудия, наделенного полномочиями судить о моих пристрастиях по одной только профессиональной принадлежности.

Мы проторчали на парковке несколько часов. Все это время сыщики звонили то в отель, где остановился Катценберг, то в Интерпол, то в Комитет по борьбе с наркотиками, то представителю посольства США. Под конец своей бурной оперативно-розыскной деятельности они сказали мне:

— А вы поедете с нами.

Я забрался в их роскошную, еще пахнущую всем новым, машину. На передней панели было столько всяких лампочек и кнопочек, что в твоём самолете.

— Ну, и что он за тип, этот Катценберг? — спросил Кармона.

Я рассказал, что знал, сбиваясь из-за стремления придать как можно больше искренности каждой фразе.

Мы проезжали район одноэтажных домов. В этой части города только что прошел дождь. Каждый раз, когда они притормаживали у очередной машины, водитель делал вид, будто нас тут и не было. Я сам сотни раз оказывался в положении этих водителей: я точно так же притворялся, будто не замечаю присутствия представителей правосудия, мечтая, чтобы они сделались невидимыми, растворились в воздухе и поскорее отправились бы себе дальше по своим загадочным делам.

Но куда же подевался, в самом деле, Катценберг? Может быть, он валяется, связанный, в каком-нибудь грязном квартале с кляпом во рту? Передо мной стали рисоваться смутные сцены его похищения: вот его толкают куда-то во мраке со связанными за спиной руками; он спотыкается, а его толкают; вот он превратился в какой-то бесформенный куль, узнаваемый только по цветастой рубашке, купленной в дешевом магазине; вот он уже совсем потерял всякое сходство с человеком, просто грудa мяса без лица, жертва нелепой случайности; недвижимое тело, жадно облизываемое набегавшими уличными собаками...

Наверное, я навывдумывал все эти ужасы по поводу судьбы Катценберга, чтобы избежать мыслей о том, что ждет меня самого. Тридцати восьми лет, прожитых в этом городе, вполне достаточно для того, чтобы знать, что поездка «с нами» далеко не всегда сопровождается обратным билетом. «Но бывают же исключения», подумал я: есть такие, что выжили, две недели питаюсь одной газетной бумагой; другие выживали с головой, ставшей как решето после пятнадцати ударов ножом для колки льда; третьих пытали

током в ваннах, наполненных холодной водой. Да, были и такие, хотя их историям никто не верил. Перспектива выжить и рассказывать о перенесенных мною мучениях придавала мне духу. Я представлял себе, как обезображенный, но живой, буду пугать Таню каждым своим прикосновением. Да, я останусь чудовищем, но с правом на жизнь. Потом я стал думать, будет ли Рената плакать на моих похоронах. Да нет, она и на отпевание не пойдет; она не захочет, чтобы моя бедная мать обняла ее и произнесла несколько печальных слов утешения и прощения за то, что она оказалась виновницей моей смерти...

Я бы не уплыл в эту мелодраму, видя перед собой реальную и явную опасность. В машине хорошо пахло, я жевал свою ароматическую жвачку, мы ехали без спешки, соблюдая все правила дорожного движения. И все же: где-то в подвале *Тамаль* уже был готов...

— Так вы, стало быть, кинематографист? — спросил вдруг Мартин Паленсия.

— Я пишу сценарии.

— Так вот я хотел вас спросить: этот ваш Бунюэль, он, что, сильно задвинутый был насчет наркоты? У меня дома видиков до хрена, ну, реквизировали мы как-то у одного... Вы уж извините, но этот Бунюэль, видать, сам дурью баловался... Ну, сразу же видно, что мужик постоянно под дознякам, с такими глюками... Клянусь, для меня он авторитет, ну, реальный такой крупняк, в кино он круче всех, он там один такой, точно что с квадратными яйцами, — Паленсия размахивал руками для подкрепления своих доводов, глаза его сверкали, видно, он давно уже пытался выразить свои мысли по этому поводу. — Но чтобы такой старпер да так накачивался! Я всегда говорю: «Ну, ладно там Шекспир, подумаешь, сукин кот, мне-то до фени». Эти козлы все сочиняют там себе, да сочиняют, — он резко дернул головой из стороны в сторону, типичный жест для накачанного кокаином или амфетамином. — Ну, помните, еще там у него две бабы превращаются в одну? Обе совершенно четкие, но совершенно разные; ни хрена друг на друга не похожи; а этот возьми, да смешай их в одну, видать, порядком приварил. А они и не смешиваются: ну, обе — одна, а каждая все отчетливей да отчетливей! Видать, старикан уже совсем поплыл. Хотел бы я так отъехать... Так это и есть сюрреализм? Да, вот это настоящая жизнь... — он помолчал, глубоко вздохнул и вновь обернулся ко мне. — Ну, так что, чем там накачивался маэстро Бунюэль?

— Он любил картины.

— Ну, так а я тебе что говорил! — и он хлопнул по плечу Кармону.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> «Край наимпрозрачнейшей ясности» (1958) — роман мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса (1928).

<sup>2</sup> Моктесума II (Монтесума) (1466—1520) — верховный правитель ацтеков. Погиб в схватке индейцев с испанскими колонизаторами.

<sup>3</sup> Кетцаль — птица с редкостно красивым оперением. Считается одним из символов Мексики.

<sup>4</sup> Максимилиан Габсбург, Фердинанд Максимилиан Иосиф (1832—1867) — австрийский эрцгерцог, возведенный Наполеоном III на престол императора Мексики. Был расстрелян в результате народного восстания.

<sup>5</sup> В Мехико в качестве такси используются маленькие «жуки» ярко-зеленого цвета, снующие по городу в огромном количестве.

<sup>6</sup> По-испански слово «извержение» (*erupción*) имеет также медицинское значение: «кожная сыпь».

<sup>7</sup> Бола (исп.) — шар.

<sup>8</sup> Шипе-Тотек («наш вождь ободраный»), Красный Тескатлипока — в мифологии ацтеков божество, связанное с весенним обновлением природы. Обычно предстал в лоскутах из содранной человеческой кожи.

<sup>9</sup> Хуана Инес де Асбахе-и-Рамирес де Сантьяна (1651—1695) — мексиканская монахиня, выдающаяся поэтесса, известная как Хуана Инес де ла Крус. Многогранная творческая личность, внесла весомый вклад в развитие мексиканской национальной культуры.

<sup>10</sup> «Земля обетованная» (1974) — фильм А.Вайды антитоталитарной направленности.

<sup>11</sup> Пануко — река в Мексике, проходящая в своем течении через несколько штатов и впадающая в Мексиканский залив.

<sup>12</sup> Сальтильо — город в северной Мексике, административный центр штата Коауила.

<sup>13</sup> Очевидно, автор обыгрывает здесь «Критику чистого разума» (1781 г.), основное сочинение Эм.Канта.

<sup>14</sup> Жене Жан (1910—1986) — французский драматург эпохи неоавангарда. Лейтмотивом его произведений является отрицание условностей общества.

<sup>15</sup> Марьячи — типично мексиканский музыкальный ансамбль, отличающийся аффективной манерой исполнения народных песен.

<sup>16</sup> Марио Варгас Льюса (1936) — перуанский писатель мирового масштаба, известный политик. На русский язык переведены все его романы.

<sup>17</sup> Даррел Лоренс (1912—1990) — английский поэт, романист.

<sup>18</sup> Мальколм Лаури (1908—1957) — английский прозаик, поэт.

<sup>19</sup> «Окссо» — распространенная в Мексике сеть магазинов.

<sup>20</sup> «Глубокая глотка» (1972) — знаменитый порнографический фильм. В переносном значении — тайный информатор.

<sup>21</sup> Тамаль (в Мексике) — блюдо из кукурузной муки с разнообразной начинкой, приготовленное в кукурузных листьях; напоминает долму или голубцы, но часто бывает сладким. Этим же словом обозначается и афера, темное дело, а также вор и бандит.

Перевод и примечания Ю.ГИРИНА

*Окончание следует*